

Москва

# Смешные рассказы





*Дорогой читатель!*

*Спокойно и внимательно прочти  
эту книгу и не будь слишком строг.  
Буду счастлив, если угодил тебе...*

Михаил Бакушкин



# Михаил Бакушкин

*Издание осуществлено  
за счет средств автора*

ХАКАССКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

АБАКАН · 1994

ББК 84Р2  
Б 19

Оформление художника  
СУБРАКОВА Р.И.

**Михаил Бакушкин**

Б 19 Смешные рассказы. — Сборник юмористических рассказов. Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1994. — 48 с.  
ISBN 5-7091-0062-5

Иронический взгляд на нашу жизнь глазами молодого писателя-юмориста.

Б 4702010200—011 139—94  
М 164(03)—94

ББК 84Р2

ISBN 5-7091-0062-5

© М.М. Бакушкин, автор, 1994  
© Р.И. Субраков, оформление, 1994

## НЕУГОМОННЫЙ

Не знаю, хорошо это или плохо, когда человек получает в наследство от родителей не красивое, но и не страшное лицо, не высокий, но и не маленький рост, не худой, но и не толстый торс, не быструю, но и не медленную походку и т.д.

Но когда к этой усредненной внешности родители примешивают несовременные инициалы и смешную фамилию, наверное, плохо. Вот примерно такими данными и обладал Мефодий Мефодиевич Мамитька. Вообще-то он был человеком энергичным и деятельным, и, казалось бы, что ещё нужно? Живи и радуйся. Но в том-то и вся беда, что две совсем незначительные особенности его характера, в конечном счёте, делали жизнь Мефодия неудачной. Во-первых, его активность и энергичность были в нем временны, непостоянны. Они вспыхивали в нем как пожар — неожиданно и бурно, и точно так же гасли. Если он брался за какое-нибудь дело, то со страстью и огоньком, но на полпути вдруг интерес к делу пропадал, и он забрасывал его.

Другой особенностью было то, что Мефодий с детства почему-то был убежден, что судьба уготовила ему миссию не простого человека, а непременно знаменитого: врача, летчика, моряка и т.д. Но все попытки стать подобного рода знаменитостью не осуществились.

После окончания школы Мефодий сначала решил попасть в ряды людей в белых халатах — благородной и гуманной профессии. От знакомых и друзей он узнал, что для этого нужно не бояться крови и мертвецов. И Мамитька решил проверить себя.

Испытание на кровь он выдержал блестяще. Упросил друга, чтобы тот разрешил резануть, а потом, разумеется, перебинтовать ему палец. Друг разрешил. Мефодий резанул и перебинтовал. Получилось, как у заправского хирурга: быстро и аккуратно. Друг похвалил Мефодия за его одаренные способности и сказал, что тот просто рожден быть врачом. Окрыленный похвалой первого своего пациента, Мефодий стал регулярно по-

сещать похороны, которые не редко, но и не часто проходили в его не большом, но и не маленьком городе. И до того напосещался, что долгое время спал, не выключая света. Можно бы было стать летчиком, но Мефодий понимал, что к этому нелегкому делу надо готовить себя загодя, и он стал каждый день выходить на балкон девятого этажа и подолгу глядеть с него вниз. Но после каждой такой тренировки у него кружилась голова и урчало в животе.

Стать отважным помором Мефодию тоже не пришлось: что это за моряк, который не умеет плавать? Мефодий это сознавал, но долго держаться на воде так и не научился.

В конце концов, рассудил Мефодий, рабочих — это тоже знаменитость. И он подался в рабочие. До этого он много читал про передовиков, тщательно изучал их методику работы, ну и, конечно, их путь к славе. Изучив, пришел к выводу, что все они стали известными лишь потому, что своевременно находили какие-то недостатки на производстве, указывали на них, а затем устраняли.

Вооружившись такими знаниями, Мамитька с первого же дня своего пребывания на заводе нашел массу недостатков и стал их указывать, но все почему-то больше начальству. До стадии устранения недостатков Мефодий не дошел. Начальство его вызвало и самому указало...

Так, меняя одну за другой профессии, Мефодий Мефодиевич Мамитька незаметно дожил до не молодого, но еще и не до старого возраста. И вот однажды в обыкновенный не ясный, но и не пасмурный летний день Мефодий Мефодиевич вышел из дома. Настроение у него было под стать погоде. Шел он своей обычной походкой — не быстрой, но и не медленной, как вдруг обнаружил — она! И в памяти Мефодия Мефодиевича, уже не молодого, но еще не старого, сразу отыскались знаменитые строки: «Я помню чудное мгновенье...»

Мефодий знал, что муза — явление дефицитное, посещать кого-то лишь для чтения чужих стихов не станет, и он не ошибся. Не успело его сердце полностью проникнуться незнакомым видением, а ум оценить создавшуюся ситуацию, как губы уже зашептали собственный экспромт: «Каки глаза! Каки ресницы!» Что писать дальше, Мефодий пока не решил. Оставив предмет вдохновения, он поспешил вернуться домой. Не аккуратно, но и не грубо усадив собственную персону за письменный стол, Мефодий достал бумагу, ручку и вдохновенно вывел:

— Каки глаза! Каки ресницы!

Кругом одни, одни...

Тут он остановился, ища подходящую рифму, напряг мысли. Что «одни»? Ага, девицы? Нет. Страницы? Что лучше, девицы или страницы? Мефодий даже немного растерялся от такого изобилия нахлынувших слов. Но, подумав здраво, рассудил: оставить «девицы» — читатель сочтет автора за легкомысленного, оставить «страницы» — создается неплохое впечатление солидного, читающего, эрудированного человека. И Мефодий оставил «страницы».

Покончив с сочинением, Мефодий решил дать заслуженный отдых плодотворно потрудившейся голове. Голова Мамитьки, отдыхая, тоже, в свою очередь, не переставала думать о литературной карьере своего хозяина: завтра мир узнает о новом вспыхнувшем имени и таланте, почему-то до сих пор скромно дремавшем в недрах народных талантов.

Утром Мефодий уже был в коридоре местной редакции. Медленно продвигаясь вперед, он внимательно вчитывался в надписи на дверях. «Бухгалтерия» — не то. «Промышленный отдел» — не пойдет. «Отдел писем» — уже лучше. Зайду. — И Мефодий не громко, но и не тихо постучал.

В кабинете за большим полированным столом, в окружении телефонов и бумаг, сидел маленький, с лысеющим черепом мужчина в очках. Мужчина увлеченно что-то писал и, казалось, совсем не замечал вошедшего. Мамитька кашлянул. Услышав звук, мужчина сразу же оторвался от своего занятия, глянул на вошедшего, как на старого знакомого, радостно воскликнул:

— А-а! Заходи, заходи. Садись. С чем пожаловал? Бой бюрократам, мещанам? Статья? Заметка? Очерк?

— Я, — уже сидя напротив мужчины, не громко, но и не тихо начал Мефодий, — начинающий поэт — Мефодий Мефодиевич Мамитька.

— Очень приятно. Так, так, — понимающе закивал мужчина.

— Я принес стихи...

— Стихи?! — участливо перебил Мефодия Мефодиевича мужчина. — Это хорошо. В них плотней, ярче можно выразить наблевшее, чем в прозе. Я бы сказал, — пытаюсь найти нужное слово, мужчина поднял глаза к потолку и, пощелкав пальцами, продолжил, — я бы сказал, лаконичнее. Признаться, я тоже поклонник стихов. И иногда на досуге имею, так сказать, удовольствие пописывать. И не боюсь сказать, не без пользы. Мое перо — гроза мещан и дармоедов. Какая тематика у тебя?

— Любовная, — смущенно ответил Мамитька.

— Любовная? Тоже неплохо, — мужчина, заговорщески мигнув Мамитьке, пропел: — Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...

Мефодий с каждой минутой общения с мужчиной все более проникался к нему симпатией. Он даже готов был расцеловать его. Кто знает, как поступил бы Мамитька через минуту, если бы мужчина не попросил у него рукопись, которую Мефодий, с надеждой на похвалу, тут же протянул мужчине. Тот взял у Мамитьки листок, отставил его на почтительное расстояние, то ли для торжественности, то ли от дальновзоркости, и вслух прочел:

— Каки глаза, каки ресницы, кругом одни, одни...

Он вдруг остановился и недоверчиво, как милиционер, сравнивающий фотографию в паспорте с оригиналом, покосился на Мамитьку.

— М-да, — задумчиво произнес мужчина. Веселость его как рукой сняло.

Мефодию подобное междометие не понравилось. В нем он почувствовал что-то недоброе. Но во что бы то ни стало решил до конца отстаивать позицию начинающего, но уже подающего, по его мнению, немалые надежды поэта.

Как и предчувствовал Мефодий, мужчина начал с придирок и почему-то сразу перешел на «вы».

— Ну, во-первых, ни каки, а какие. А во-вторых, извините, — мужчина пожевал губами и изрек, как приговор, роковое для Мефодия слово, — ерунда какая-то.

Мефодий не выдержал такой критики, вспылил:

— Что значит «ерунда?» Я, я, — Мефодий в волнении и гневě задохнулся, — я, можно сказать, по вдохновению первой любви... Я это все сам пережил и выстрадал. А вы, а вы,.. — он не договорил, потребовал: — Отдайте сейчас же рукопись. Я жаловаться буду, — и, хлопнув дверью, гордо и независимо вышел.

Он заходил во все двери, какие только были в редакции, показывал свои стихи и жаловался на мужчину из первого кабинета, на отсутствие чуткости, внимания и поддержки к проснувшемуся таланту. Все читали Мефодиевы стихи, качали головами и, как сговорившись, произносили не совсем понятное для Мамитьки:

— М-да...

Не преминул Мефодий заглянуть и в бухгалтерию. Здесь он также показал свои стихи, пожаловался, но, к счастью, не услышал от не молодой, но и еще не старой, полной и добродушной женщины-бухгалтера убийственное «м-да». Сочтя это за добрый знак, он на всякий случай справился о величине гонорара.

Наконец, его рукопись легла на стол редактора. Редактор, человек солидный и степенный, терпеливо и до конца прочитал Мефодиевы стихи, выслушал жалобы и почему-то отправил его снова к веселому мужчине.

И снова кабинеты, и снова Мамитька у редактора, и снова редактор терпеливо прочитал, выслушал и вызвал к себе мужчину из первого кабинета. Говорили о недостатках мамитькинских стихов. О достоинствах почему-то умалчивали. Говорили о таланте, но не о Мамитькином. И наконец, вернув ему рукопись, отпустили, пожелав на прощание дальнейших творческих успехов.

От первой творческой неудачи Мефодий не пал духом. За рабочим столом в ворохе бумаг, весь в поиске новых литературных путей и образов, он наконец-то нашел себя, но на этот раз в прозе. Предметом вдохновения стала на этот раз не прекрасная половина человечества, а небольшая, хлипкая, стоящая под его окном сосенка. Но Мефодий дал волю воображению, и перо его дерзко вывело:

«... Большая высокая сосна стояла в большом сосновом лесу...» Преисполненный оптимизма и уверенности в успехе, Мефодий на следующий же день снова был в редакции. Как только он заходил в какой-нибудь отдел и показывал свое сочинение, сотрудники, ссылаясь на срочные дела, исчезали. Первым исчез веселый мужчина, за ним — остальные. Даже редактор, человек солидный и степенный, тоже постарался незаметно уйти. На месте осталась только бухгалтер, полная и добродушная женщина, почитательница Мамитькиного таланта, но и она потихоньку-помаленьку, словно от греха подальше, постаралась улизнуть с Мефодиевых глаз.

И так каждый день. Мефодий приносил в редакцию плоды своего таланта, и всякий раз от его очередного пробега по кабинетам редакция, как по команде, пустела. Больше всех страдал от Мамитькиных появлений веселый мужчина, который стал далеко не веселым.

Как все писатели и поэты, Мефодий не избежал и творческого кризиса... Впал, как сказал бы Пушкин, в хандру, злую и мучительную, а иначе говоря, перестал писать. Ну и, естественно, перестал бывать в редакции.

Рабочая атмосфера в редакции за время отсутствия Мамитьки стала постепенно приходить в обычное русло. Только мужчина из первого кабинета почему-то тоже, как и Мефодий, плохо спал, мало ел и почти совсем не брился. Лицо его из круглого, румяного помидорного вида превратилось в вытянутый, шершавый, китайского сорта огурец. Он стал скучным и часто заговаривал Мефодиевыми стихами.

Наконец, через месяц-другой, оправившись от злой тоски, Мефодий случайно зашел в редакцию. В коридоре он неожиданно столкнулся с редактором.

— Вы? — то ли растерянно, то ли удивленно воскликнул редактор.

— Я, — то ли смущенно, то ли виновато стозвался Мамитька.

— Что-нибудь написали? — настороженно спросил редактор и тут же добавил: — Извините, мне некогда.

Но Мефодий, как бы не расслышав последние слова редактора, не громко и не тихо ответил:

— Я уже не пишу.

— Как? — то ли обрадованно, то ли удивленно воскликнул редактор.

— Как? — почти одновременно, выглянув из своих дверей, крикнули бухгалтер и мужчина из первого кабинета.

— Как? — выходя из своих отделов, спрашивали сотрудники. Через несколько минут Мефодий был окружен всеми работниками редакции. Каждый его приветствовал, справлялся о здоровье, жизни и творческих достижениях. Каждый сожалел о закончившейся так рано и внезапно литературной карьере. Больше всех сокрушался мужчина из первого кабинета, без конца цитируя Мефодиевы стихи.

Мефодий до глубины души был тронут искренним сочувствием и вниманием окружающих его людей. Ему казалось, что людям по-настоящему жаль его, Мамитьку, и его гибнущий талант писателя. И он рад был снова начать писать, рад бы помочь людям, но в том-то все и дело, что к литературе он, Мефодий Мефодиевич Мамитька, успел уже остыть. Он не знал, к чему еще, но уже чувствовал, что к чему-то другому, может быть, более великому, чем литература, уже зовет его неугомонный и странный нрав...

## НЕ НА ТУ НАРВАЛСЯ

От природы Федор Потапович Голощекин был человеком энергичным, жизнерадостным, среднего роста и худощавым. На белом свете он успел прожить пятьдесят лет и к этому времени приобрел многое: шикарную седую шевелюру, очки, хруст в суставах и алименты на троих детей от разных жен и в разных городах. Потерял, по сравнению с перечисленным, немного: лишь несколько коренных зубов. И что интересно, когда ему приходилось расставаться с очередным зубом, он с такой скор-

бью взирал на бывшую свою собственность, одиноко лежавшую в чистом тапике стоматологического кабинета, что врачам, которым он охотно доверялся в этом деле, становилось жаль его, и они предлагали ему на память его же зубы.

Федор Потапович брал их, благодарил врачей за внимание и чуткость, бережно нес их домой, ложил в жестяную баночку, закрывал аккуратно крышечкой, тоже жестяной, и берег.

Время от времени он доставал баночку, открывал ее, любовался зубами, как фотографией первой молодости, сокрушенно вздыхал, что-то вспоминал, о чем-то жалел и, немного поплакав над ней, снова становился прежним: веселым и подвижным.

Федор Потапович был постоянным и прилежным читателем газеты «Шанс», но исключительно рубрики «знакомства». Это была единственная газета, которую он от души уважал. В ней не было скучных статей о доярках и механизаторах. В ней можно было приобрести все, что только пожелаешь: от ботинок до квартир, от кулинарных советов до брачных рекомендаций. Каждый мог выбрать себе все, что понравится. Федору Потаповичу нравилось знакомиться, и он знакомился.

Каждое суботнее утро Федор Потапович спешил в киоск, который, к счастью, стоял недалеко от его дома, брал газету, прибегал домой, садился за письменный стол и с вдохновением Дюма принимался за работу: вычитывал, прикидывал, соображал. Затем сочинял, писал, отправлял. Письма шли в разные населенные пункты: города, деревни, поселки, станции, и были разными — грустными и веселыми, пылкими и нежными. В одних он клялся в любви и верности, в других ругал бывших жен, через которых, моля, принял страдания, в третьих рассыпался длинными и трогательными тирадами о несчастной мужской доле. Но исключительно во всех была фотография со взбитой, как у артиста, шевелюрой пепельного цвета, но без очков, и горячая мольба о свидании.

Приходили ответы, и приезжали их владелицы. Федор Потапович встречал их, угощал скромным, по-холостяцки сервированным ужином, водил по городу и оставлял у себя ночевать, а наутро прощался. Обещал писать и жениться. Но не писал и не женился, а быстро сочинял письмецо новой знакомой.

Со своими друзьями Федор Потапович иногда откровенничал:

— Надо же, до чего додумались! Один конверт; и — невеста. Вот это я понимаю — экономика! Где тут, к черту, женишься!

Федор Потапович настолько поднаторел в этом деле, что даже завел график приема, расписание которого было несложно и гласило: «В субботу вечером».

В эту субботу на очереди было письмо блондинки недурной наружности, безграмотное, но ласковое и поэтичное: «... я к тебе ужю явлюся, так что жди, соколик мой...» Федору Потаповичу оно показалось неглупым и романтичным. К вечеру, как и полагается, при часах и в галстукe, в новом костюме цвета картофельной ботвы, который он специально завел для таких случаев, умытый и причесанный, Голощекин ждал визита. Звонок, — и хозяин, молодецки подбежав к двери, открыл ее и чуть не упал от неожиданности: перед ним стояла блондинка, но наружности, как показалось Федору Потаповичу, весьма дурной. Она была огромная, с мужскими плечами и горбатым, как у попу-гая, носом.

Федор Потапович, как искренний и преданный читатель газеты «Шанс», имел все основания обидеться на свою любимицу и ругнуть ее. Это он и сделал — обиделся и ругнул, но только про себя: «Бюрократы несчастные, халтурщики, подсмеялись, напутали. Ведь это не женщина, а чудо в перьях!»

А чудо в это время, ничего не ведая о мыслях своего жениха, преспокойно и по-свойски улыбалось. Весь ее вид говорил: «А вот и я. Ну что, рад?» В руках у нее были две огромные сетки с вином и закуской. Федор Потапович аппетитно сглотнул слюну, но устоял. Мужественно выдержав паузу, он покряхтел и невозмутимо изрек:

— Вы к кому?

— К тебе, — баском ответило чудо. Голощекина передернуло от такого диалекта. Он хотел возразить, но смешался.

Видя растерянность жениха, невеста по правилу: куй железо не отходя от кассы, решила, что времяковки настало, тем паче, что касса рядом. Густо кашлянув, она порывисто и вдохновенно заговорила:

— Женись на мне, Федюнчик! Я хозяйственна и без дурных привычек! — Но пламенные речи невесты не тронули сердце Голощекина. Невозмутимо, как сфинкс на толпу туристов, Федор Потапович смотрел на выписанную блондинку, которая возбужденно, с жаром все говорила и говорила:

— Я хоть и не обучена фортепьянным делам, но если щипарганю, язык проглотишь.

Она приблизила лицо к двери, и Федор Потапович ощутил щекочущий запах чеснока. Громко и без стеснения чихнув, отстранился. А блондинка нежно и настойчиво ворковала:

— Федюшка, соколик...

Хотя Федюшка и любил щипарганю больше, чем игру на фортепьяно, сейчас он предпочел бы им любоебряканье.

Полизав пересохшие губы, он остудил пыл невесты:

— Приятно слышать, но я вынужден вас огорчить, вы ошиблись.

— Как? — Брови невесты, как всполошенная стая птиц, взметнулись вверх. — Быть не может. У меня же письмо.

— Какое письмо? — с деланным любопытством спросил Федор Потапович.

— Как это какое? — удивилось чудо. Она, не мешкая, взяла обе сетки в одну руку, быстро, с джентльменскими выкрутасами, (вроде как манеры хорошие) поднесла к самому носу жениха конверт:

— Узнаешь?

Голощекин залюбовался культурными выходками невесты. И был даже соблазн самому на этот же манер для форсу щегольнуть, мол, и наших знай тоже. Но через секунду он отогнал его, и настороженно скосил глаза на конверт, затем взял его в руки, недоуменно повертел и хладнокровно ответил:

— Ну и что?

— Как это что? — невеста подозрительно сощурила глаза. — Ты что, меня за нос водишь?

— Я?

— А кто, Пушкин, что ли?

На этот раз блондинка окончательно сбила Голощекина с толку своей образованностью. Пока он думал, кто такой Пушкин, она сдвинула брови, посуровела, по-военному твердо и решительно начала наступление:

— Это город такой-то?

Голощекин, чувствуя, что окончательно влип, нехотя и краснея стал отвечать:

— М-да...

— Это такая-то улица и такой-то номер?

— М-да...

— Со мной говорит Федор Потапович Голощекин?

— Нет! — тоном, исключаяющим всякие возражения, соврал вдруг он.

— А кто?

— Брат, — продолжал врать Федор Потапович и почувствовал себя от этого даже увереннее.

— Брат? А где же он?

— Ушел куда-то. Куда, не знаю...

— Я подожду, — нашлась невеста и решительно шагнула к двери.

— Нет, нет, что вы. Он не скоро придет, может и совсем не прийти. До свидания.

— Я подожду, — настаивало чудо.

Федор Потапович вежливо возмутился.

— Какая наглость! Уберите сейчас же ногу.

— Я подожду! — упорствовала она.

Тут Федор Потапович, забыв о всех правилах хорошего тона, взревел:

— Убери ногу, дура!

— Кто дура? Я дура? Я те покажу дуру. Сам дурак, — она поставила сетки и всем своим могучим телом навалилась на дверь, — а ну, пусти. Пусти, говорю. Я те покажу дуру. Не на ту нарвался. Я из далека, понимаешь ли, ехала, а он — дура. Пусти, говорю.

Голощекин не ожидал, что дело примет такой оборот, струхнул, но на всякий случай пригрозил:

— Я позову милицию.

— Зови, я ей все обскажу.

— Обсказывай, все равно не пущу.

— Тогда отдай фотографию, — потребовало вдруг чудо.

— Не отдам.

— Не отдашь?

— Нет, — чтобы хоть чем-то досадить ей, Федор Потапович сложил фигуру из трех пальцев и показал ее невесте, — вот тебе, а не фотография.

— Ах так! — чудо вдруг изловчилось и по-боксерски стукнуло в мелькавшее за дверью злорадствующее лицо жениха.

Федор Потапович вскрикнул, но устоял. Он с тройной энергией приналег на дверь, но в три раза усилила давление и блондинка. Тогда Голощекин из последних сил поднатужился, и дверь медленно стала закрываться. Еще мгновение, и он торжествовал бы победу, но назойливое желание посмотреть напоследок на невесту так и подмывало его выглянуть, и Федор Потапович выглянул. Не успел он это сделать, как очередной удар — хлесткий и точный — мгновенно поверг его на пол.

Федор Потапович даже ничего не успел понять, зато успел почувствовать, что весь он вдруг стал как пар — непрочным и мягким. А в голову пришли покой и благодать.

Ему еще никогда в жизни так не хотелось спать. И он с удовольствием заснул.

Очнулся Федор Потапович на кровати без часов и галстука, зато с мокрым полотенцем на лбу. Он попытался поднять голову и оглядеться, но нестерпимая боль заставила его схватиться за челюсть и вскрикнуть. И его глазам сразу же предстала блондинка в халате и тапочках.

— Федюнчик, — радостно всплеснула она руками и засуетилась у его кровати, — проснулся?

Федюша не ответил. Он отнял руку от челюсти и с каким-то тайным, одному ему ведомым предчувствием, глянул на ладонь. Глянула на нее и блондинка.

— Зубик? — удивленно и участливо воскликнула она, — ну давай его сюда, давай.

Действительно, это был зуб — большой симпатичный, величиной почти с указательный палец, он, как ни в чем не бывало, лежал у своего хозяина на ладони.

Федор Потапович как родное дитя прижал его к груди и не отдавал.

— Ну хорошо, не надо, — проворковало чудо, — спи, соколик мой, спи, — она погладила жениха по голове и, несмотря на свою дородность, ласточкой выпорхнула из комнаты.

А Голощекин в это время, держа ладонь у сердца, уже тихий и безмятежный, мысленно, как с закадычным другом, прощался с очередной утратой.

В комнате, как и в груди Федора Потаповича, было спокойно, только из кухни невидимым облачком проникал вкусный запах щей, да изредка доносилось незлое ворчание невесты: «Кого обмануть хотел. Брата выдумал. Не на ту нарвался...»

## ПОДВЕЛА ИНСТРУКЦИЯ

Кешка на первую свою сессию приехал с огромным желанием сдать ее. Главное — отбросить лень. И Кешка не только отбросил ее, а вообще не взял ее с собой — оставил дома. В институт он пришел рано. Дежурная еще пила чай и сердито поглядывала на ранних студентов. Кешка переписал расписание и хотел уже идти, как вдруг заметил на самом углу доски объявлений висевший на одной кнопке странный клочок бумаги.

«Продается инструкция», — было написано в заголовке, — «желающие получить консультацию об эффективном методе сдачи экзаменов могут зайти в комнату и номер, в общежитие и номер. Гарантия стопроцентная. Оплата по договоренности».

«Ерунда какая-то», — было первой его мыслью. И он уже почти пошел, но вторая мысль остановила Кешку, и он более внимательно прочел объявление. «А что если?...» — появилась третья мысль в Кешкиной голове и окончательно завладела им. «А что если и правда..?» — осенила его идея и даже обнадеживающим стуком отозвалась в сердце. По-воровски глянув в оба конца коридора, он цапнул бумажку, лишь кнопка осталась. Возбужденный, он вышел на улицу и долго ходил возле общежи-

тия. Наконец решился, нашел нужную комнату и неуверенно постучал.

— Открыто, — ответили за дверью молодым тенорком.

В тесной и грязной комнате, скрестив худые в джинсах ноги, лежал на кровати парень.

— Заочник? — сразу спросил он.

Кешка понял, что его здесь с нетерпением ждут, и как на духу признался:

— Он самый...

— А я-то, грешным делом, уже подумал — не придешь. Лежу вот, жду. Переживаю. На занятия не пошел.

Парень скинул с кровати длинные ноги, подошел к Кешке и, как у старого знакомого, потребовал:

— Ну что, гони.

Кешка не сразу понял, на что намекает длинноногий, переспросил:

— Что?

— Как что, бабки.

— А-а, — наконец-то врубился Кешка, — сколько?

— Столько-то.

— Странно, а почему именно столько?

— Да потому. Хочу столько. Имею я право хотеть?

— Ну да...

— К тому же наша страна взяла курс на рынок. Так?

— Ну, так...

— Но к нему еще не подошла — переходный период требуется.

Так?

— Ну, так...

— А раз так, значит компенсация полагается. То есть, небольшая подготовочка. Так что все по закону, и странного тут ничего нет. Усек?

— А-а...

— Ну, вот и ладушки.

Кешка отсчитал положенную сумму и отдал ее длинноногому. Тот с большой нежностью спрятал деньги в карман, сел на кровать и усадил напротив Зазнобкина.

— Значит так, инструкция проста, — деловито начал он, — главное, надо знать психологию каждого преподавателя. Здесь я должен уточнить, что данный случай предполагает только женскую психологию. Ты меня, надеюсь, понимаешь?

— Понимаю, — действительно поняв, ответил Кешка.

— Ведь что в сущности представляет из себя женщина? Любая женщина, будь она хоть академиком, всегда остается женщиной. Усек?

— Ага...

— Так вот, — назидательно продолжил длинноногий, — зная эту основную деталь, выбирай подходящий объект и действуй. Во-первых, нужно чаще быть на глазах у данного объекта, что создает впечатление прилежного студента. Во-вторых, если ты присутствуешь на лекции, то делай умное, вдумчивое лицо. При случае задавай всевозможные вопросы, можно даже глупые. У объекта создастся о тебе впечатление как о старательном студенте, пытающемся хоть что-то понять, хоть в чем-то разобраться. Отсюда у него возникает жалость: мол, бедный студент, на работе напашется да еще тут с таким стремлением жаждет знаний. Все это плюс. Если выпадет случай запустить шуточку — запусти. У объекта может возникнуть впечатление как о неутомимом, веселом, неунывающим труженике. Тоже плюс. В-третьих, смотри на него чуть дольше обычного, строй из себя влюбленного. Пусть у объекта создастся впечатление, что ты без ума от него, и в то же время не решаешься сказать об этом, что у тебя, может быть, где-то семья, детишки, и это только удваивает твою нерешительность и страдания. Женщины особо понимают подобного рода взгляды, естественно, поймет и выбранный тобой объект. Если не ответит взаимностью, то обязательно посочувствует. А это тоже плюс. На экзаменах ты разволнуешься, где-то запнешься, где-то заикнешься, где-то глубоко вздохнешь, приложишь к груди ладонь, делая вид, что страдаешь и что тебе очень стыдно, обязательно пообещаешь все выучить, а когда увидишь, что ее ручка выводит в твоей зачетке нужное количество баллов, поспешно удаляйся.

— Ну, а если ответит?

— Тогда все упрощается: не надо будет краснеть и вздыхать. Бери несколько гвоздик и — куда-нибудь. Фонтанов у нас, к сожалению, нет, остались только памятники. Ясно?

— Ясно.

— Тут, дорогой мой, — поучительно потряс в воздухе пальцем длинноногий, — целая наука, и если ее как следует применить, то можно получить неплохие результаты. Все понял?

— Все.

— Ну и ладненько.

Выходя из общеджития, Кешка восхищался длинноногим: «Наглый какой! Закон предусмотрел. И как я сам об этом не догадался? Мог бы тоже выдумать какую-нибудь инструкцию и загнать ее. Ну, ничего, надо действовать, зря, что ли, платил».

На другой день Кешка выбрал подходящий объект. Им оказалась молоденькая преподавательница политической экономии. Первое, что он сделал, так это с галерки переместился в аван-

гارد, и со всей имевшейся в нем энергией, какой раньше даже не подозревал в себе, принялся за дело: где нужно, задавал вопросы, где нужно, запускал шуточки, улыбался, делал умиленное лицо и печальные глаза, словом, все то, что предусматривалось инструкцией. Даже два раза разорвался на гвоздики и, деликатно извиняясь, преподносил их объекту. На что объект улыбался, мол, какой внимательный студент пошел, и, как казалось Зазнобкину, немного даже краснел. Кешка тоже улыбался, но не краснел.

В таком примерно темпе проходил день за днем. Зазнобкин и глазом моргнуть не успел, как наступило время экзамена. В восемь ноль-ноль, выбритый, цветущий, без единой шпиргалки в кармане, без малейшего понятия о политэкономии, он уже дефилировал возле взволнованных, растроженных, зубрящих, перешептывающихся студенческих группок. Заботливо, с чуть заметной улыбкой, Зазнобкин спрашивал:

— Волнуетесь? Зубрите?

— Волнуемся. Зубрим, — отвечали ему.

— Ну, ну. Так, так, — в свою очередь отвечал он им, а сам логически размышлял: «Каким зайти? В первой пятерке идут отличники. Эти не боятся и не волнуются. С ними не впишусь — выпнут. В последней идут двоечники, те тоже не боятся и не волнуются, с этими и меня замести могут в общую кучу. Так, так. Остается середина. Там все и боятся, и волнуются, там все страсти, с этими можно и проскользнуть. Не зря же кто-то из классиков хорошо отозвался о ней, назвав ее «золотой серединой».

Пока Зазнобкин ходил, спрашивал, размышлял, из аудитории уже один за другим стали выскакивать пятерочки. Затем пошла в ход середина. Из нее выходили кто красный, кто бледный, кто в слезах, кто с улыбкой. Зазнобкин решил, что, наконец-то, и его время настало. Он открыл дверь, учтиво поздоровался, спросил разрешение, вошел, взял билет, чистый лист бумаги, многозначительно кашлянул и сел на свободное место. Неизвестно, думал он или нет, но точно известно, что ничего не писал. А когда подошла его очередь, снова кашлянул, взяв с собой билет, чистый листок и сел уже напротив объекта.

— Кто это у меня? — осведомился тот.

— Зазнобкин.

— Ага, нашла вашу зачетку.

«Сразу с зачетки — неплохое начало», — молнией пронеслось в голове Зазнобкина.

— Так, какой там первый вопрос? — спросил объект и начал что-то писать.

Зазнобкин снова многозначительно кашлянул, пожевал губами и медленно, выделяя каждое слово, как будто расставлял на шахматной доске фигуры, прочел:

— Первый вопрос: товар и его свойства...

— Так, хорошо, — похвалил объект, продолжая что-то писать.

Кешка замолчал и стал следить за ручкой.

— Продолжайте, продолжайте, — подбодрил объект.

Зазнобкину пришлось повторить все заново.

Объект перестал писать и вопросительно посмотрел на него.

— Вы это уже говорили, — сообщил он.

Зазнобкин повел бровями.

— Да?... гм... не думал, — он снова покашлял, — товар и его свойства. Товар — это...э-э...

— Ну, ну, — поддержал объект, — не волнуйтесь, соберитесь с мыслями.

Кешка наморщил лоб.

— Товар — это...э-э...товар...

Объект натянуто улыбнулся. Заулыбался и Зазнобкин.

— Скажите, Зазнобкин, честно — учили?

— Конечно, конечно, — закивал он головой, — только...ээ..., — он потер лоб, виски.

— Помочь?

— Только об этом и прошу вас, — с тайной надеждой и азартом выпалил он.

Но объект по-своему истолковал просьбу студента и с удовольствием «помог».

— Товар — это продукт общественного труда...

— Во, во, точно продукт...

— Ну вот и хорошо, вспомнили? Продолжайте.

Но Зазнобкин продолжать уже не стал. Глубоко вздохнув, он выразительно посмотрел в глаза объекту. Но тот опустил их на часы. Наступила пауза. Зазнобкину стало неловко, он понял, что надо говорить, и он заговорил.

— Товар...гм..., — он не договорил, закрыл глаза и приложил к груди ладонь.

— Что с вами? — встревожился объект.

— Ничего, ничего, пройдет, — Кешка стал тянуть носом воздух, как будто хотел весь, какой был в аудитории, впихнуть в свои легкие.

— Может сядете, подумаете? — вежливо предложил объект.

— Нет, нет, я сейчас, — выдохнул он, — гм, товар — это...ээ... Ах! — из самого сердца Кешки вырвалось отчаянное междоме-

тие. Кешка селезенкой своей чувствовал, что надо как-то выкручиваться. Инструкция исчерпала все свои возможности — явная недоработка длинноногого. «Халтурщик», — ругал его Зазнобкин. И вдруг неожиданно на ум пришла классная импровизация, и он — бац! — раскинув руки, распластался на столе перед объектом, угадав лицом прямо в свою зачетку.

— Ах! — тоже междометие, и тоже из глубоких мест, вырвалось у объекта, — что с вами?! — он поднял Кешкину голову и посмотрел ему в глаза, но тот выкатил их из орбит, — Господи! Ужас какой! — в страхе отпрянул объект и выронил из рук голову студента, которая, как тугой капустный вилок, брякнулась о стол, — этого только не хватало!

Преподаватель, не зная что предпринять, к счастью, заметила выглядывавший из-под Кешкиной головы уголок зачетки, осторожно, боясь нарушить покой отдыхающего, вытащила ее и торопливо поставила нужное количество баллов. Кешка мигом очнулся, выхватил из ее рук зачетку, как родное дитя, прижал ее обеими руками к сердцу и поспешно удалился. Настолько поспешно, что сокурсники не успели даже спросить его:

— Ну что? Ну как?

А Зазнобкина и след простыл.

Через пять минут он сидел у себя в номере и аккуратно выводил на листке бумаги: «Продается инструкция».

## ОБИДЕЛСЯ

— Та-ак, — раскрывая обыкновенную школьную тетрадь в клетку, протянул Иван Иванович, заведующий городским литобъединением.

Имел Иван Иванович года средние, значительных размеров тело и не совсем подходящую для своей должности фамилию — Овощеводов. В жизни Иван Иванович был человеком практичным, пробивным. И вот, в силу таких способностей, ему удалось легко закончить литературный институт. Но не из любви к литературе, разумеется, а лишь из желания иметь диплом. Чтобы побыстрее встать на ноги или, как он выражался, освоиться; Овощеводов после окончания института планировал махнуть куда-нибудь подальше от столицы. И, окончив, махнул в Темногорск — городишко дальний и сибирский. Трудно сказать, почему он выбрал именно этот город. То ли по чистой случайности, то ли в силу своих, Овощеводовских ассоциаций, которые связывались у него со столь нелестным названием этого города.

Так или иначе, а в данный пункт Овощеводов заявился. Быстро и деятельно выбил себе квартиру на втором этаже, соответствующую должность с кабинетом. Для солидности заставил его книжными шкапами и незамедлительно открыл прием для желающих попробовать себя на писательском поприще. «Была бы должность, — рассуждал Овощеводов, — а охочие в бумагомарании завсегда сыщутся». И Овощеводов не ошибся — сыскались. Иван Иванович с большим удовольствием принимал их, а еще с большим — критиковал. Единственное, что он любил в литературе, так это критиковать, особенно тех, кто делал на этом нелегком пути первые шаги. «Птенчики», — так любовно он их называл. И Овощеводов действительно от всей души любил их.

Пришедшему очередному «птенчику» Овощеводов тоже обрадовался, но вида не подал. Напустив на себя важность, он спросил:

— Рассказ, значит?

— Ага, — тихо отозвался автор — молодой человек скромного вида и с фамилией тоже скромной — Помидоркин.

Помидоркин — душа романтичная и наивная. Хотя и просуществовал он на белом свете уже двадцать лет, но еще верил в идеалы и мужскую дружбу. Душа его в эти мгновения ликовала, любила весь мир, включая и этого, с солидными габаритами, собрата, который крепко сидел напротив Помидоркина за солидным столом. Собрат больше походил на заведующего овощной базой, чем на литератора, но это не мешало Помидоркину любить его. Молодой автор был взволнован. Ведь через несколько мгновений разберут первый в его жизни рассказ. Помидоркин был уверен, что рассказ его обязательно понравится заведующему, к которому он все больше и больше проникался симпатией. Он готов был даже расцеловать его, но стеснялся.

— Так, так, — значительно проговорил Иван Иванович, — посмотрим. Он надел очки с толстыми, как у бинокля, стеклами, через которые его глаза, казалось, стали величиной по чайнику. Но тетрадку он почему-то отложил и усталив свои «чайники» на Помидоркина, как будто бы очки надел для того, чтобы лучше разглядеть его маленькую фигурку. Помидоркин через стекла, как комар через микроскоп, стал смотреться крупнее, а Иван Иванович в третий раз проговорил: — Рассказ, значит? Что ж, неплохо. Извините, как вас зовут?

— Помидоркин Петя.

— Очень приятно. Так вот, Петя Помидоркин, прежде чем взяться за твой рассказ, хочу сразу предупредить, чтобы без всяких обид, понятно?

— Ага, — не совсем понимая, о чем идет речь, ответил Помидоркин.

— Привыкай, Петя, критика моя будет мощной, беспощадной и напористой. Скажу, у нас вот в институте... Кстати, ты где работаешь?

— На стройке.

— Строитель, значит? Что ж, неплохо. Так вот, у нас в институте, скажу, критиковали так, что перья летели. Правда, находились и такие — обижались, в пузырь лезли. Но куда от критики денешься? — то ли Помидоркину, то ли еще кому задал вопрос Овощеводов. — Но тут же, глубоко вздохнув, ответил: — От нее, брат ты мой, никуда не денешься. Некоторые сначала не понимают этого, а потом ничего, привыкают, — на его губах мелькнула снисходительная улыбка, — помню, был у нас в институте такой персонаж, очень даже интересный. Сначала никак не мог примириться с критикой, обижался, а потом, — тут Овощеводов позволил себе рассмеяться, — а потом без нее жить не мог. Ходит за каждым и просит, чтобы покритиковали. А то говорит, не усну. — Овощеводов вдруг прервал свое повествование, по-суровел и, снова наставив свои «чайники» на Помидоркина, недоверчиво спросил.

— Кстати, это первое твоё произведение?

— Ага.

— Так вот, скажу, у нас в институте для многих первые произведения... Кстати, я окончил Московский литературный институт имени Горького, — тут Овощеводов сделал паузу, выжидающе глянул на Помидоркина, проверяя, какое впечатление произвело на «птенчика» его сообщение. Понял, что неплохое и продолжил в том же духе: — Становились последними. Мало у кого поднималась рука взяться за второе. Вот как научились критиковать! — Овощеводов, гордо распрямляя могучие плечи, хрустнул застоявшимися суставами, предупреждающе сообщил, — и графоманов я насквозь научился видеть, — он немного помолчал и вдруг неожиданно спросил: — А ты, случайно, Петя, не графоман?

— Что? — непонимающе переспросил Помидоркин и поднял на Овощеводова глаза, полные вопросительных знаков. Но кроме очков и глаз-«чайников» ничего не видел.

— Ни графоман ли, спрашиваю?

От такого вопроса Помидоркин смутился, неопределенно пожал плечами, опустил глаза и снова стал разглядывать носки своих ботинок.

— Ничего, разберемся, — как бы успокаивая Помидоркина на этот счет, рассудил Овощеводов и, наконец, взяв тетрадь, прочел вслух первые строки. «Солнце светило ярко. Воздух опьяняюще кружил голову, словно был настоен на аромате цветов и трав». Стоп, — Овощеводов хлопнул по столу ладонью, — не пойдет. Голимые штампы. Затасканные, замусоленные фразы. Подражательством, Помидоркин, занимаешься. Откровенно скажу, Помидоркин, это не твое. Нужно свое. Понимаешь. Свое!

— Но можно ведь и так. Ошибки, по-моему, не будет, — робко заметил Помидоркин.

— Это по-твоему не будет, — перебил Петю Овощеводов, — а по-моему, будет. Я как-никак институт закончил и лучше знаю, что можно, а что нельзя, ясно?

— Ага, — глубже погружая глаза в ботинки, ответил Помидоркин.

— Не обиделся?

— Да нет.

— Та-ак, отлично, пойдём дальше.

От такого начала у Помидоркина испортилось настроение. Теперь ему уже не хотелось целовать человека, похожего на заведующего овощной базой. Понурился, разочарованный, он еще сосредоточеннее стал разглядывать носки своих ботинок.

А Овощеводов тем временем бегал по тексту глазами, отыскивая в нем места, подлежащие, по его мнению, критике.

— Ага. Вот ты пишешь: «На нем были отутюженные коричневого цвета брюки, белая рубашка и со вкусом подобранный темный галстук». И так далее. Что это такое, а? Я тебя спрашиваю, Помидоркин, что? Описание образа, скажешь? Да разве так пишут? Зачем нудное и длинное перечисление гардероба? Зачем, я спрашиваю? Молчишь? Так, извини, Помидоркин, и до трусов добраться недолго, — Овощеводов саркастически усмехнулся, — забыл еще описать, какого цвета у твоего героя были шнурки.

Помидоркин оставил без внимания шутку Овощеводова, серьезно возразил.

— Зачем же о шнурках? Описание внешности — это лишь один из приемов создания образа. Им как классики пользовались, так и современные писатели пользуются...

— Что-о? — не дав договорить Помидоркину, удивился Овощеводов. Его брови, как два взбешенных головастика, вынырнули из-под очков. Он не ожидал от какого-то бумагомарателя, к тому же еще начинающего, такой прыти. Поначалу Овощеводов даже растерялся, но быстро взяв себя в руки, решил своим из-

любленным приемом поставить шибко грамотного «птенчика» на место.

— Мы, между прочим, в институте проходили, что такой способ описания образа, да будет тебе известно, Помидоркин, давным-давно устарел, — тут Овощеводов постарался придать своему голосу строгий и убедительный тон, — и не смей, Помидоркин, больше перебивать меня. Если, конечно, хочешь кое-чему научиться, ясно?

Ага.

— Кто лучше знает, ты или я?

— Вы.

— То-то, — успокоенный податливостью своего «птенчика», произнес Овощеводов. Его брови снова нырнули за очки. — Не обиделся? Нет? Ну и молодчина, Помидоркин. Вот, например, как надо писать, — и Овощеводов, приняв торжественный вид, прочел на память из какого-то произведения: — «Кондрат до того был коряв, что даже колбасу резал на крышке гроба своей жены». Чувствуется, Помидоркин, образ, а? Чувствуется?

Помидоркин неуверенно кивнул головой.

— Так-то. А ты что пишешь? Что, я тебя спрашиваю? Я откровенно скажу тебе — ерунду всякую пишешь. Вот у нас в институте тебя бы так разделали... Кстати, сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Так вот, так бы разделали, что ты еще лет тридцать не взялся бы писать. Еще раз повторяю, Помидоркин, что писать надо образно и кратко. Не помню, кто сказал, — Овощеводов задумчиво поцарапал затылок, — а впрочем, это неважно, что «краткость — сестра таланта». Ясно?

— Ага.

— Не обиделся?

— Нет.

— Ну и отлично. Привыкай, Помидоркин, и запомни, герой не должен сливаться с текстом. Герой должен, — Овощеводов снова запустил пятерню в затылок, — как бы это тебе популярнее объяснить? Ага, вспомнил! Герой должен выпячиваться. Я уже говорил, — и Овощеводов со вкусом, словно съев добавочную порцию отбивных, повторил: — «Кондрат до того был коряв, что даже колбасу резал на крышке гроба...». Понимаешь, Помидоркин? Колбасу! И где? На крышке гроба!

Овощеводов так вдохновенно произносил свою речь, что Помидоркин отчетливо представил его не месте Кондрата.

Но пока Помидоркин представлял, Овощеводов, сотрясая пальцем воздух, продолжал кричать.

— Это ж надо так! На крышке гроба! А у тебя? — Овощеводов вдруг, сбавив пыл, безнадежно махнул рукой, — и говорить даже не хочется. Ты не обиделся? Нет?

— Да нет, — чувствуя на щеках неприятное тепло, ответил Помидоркин.

— Ну и отлично. Дальше поехали.

Глаза Овощеводова снова забегали по тексту, но вдруг остановились, и снисходительная усмешка искривила его губы.

— Знаешь, Помидоркин, над твоей писаниной просто смеяться хочется. Вот послушай, что ты пишешь. «У нее были, как небо, голубые глаза». Как небо, как озера, как ручейки, как ягоды, и так далее. Смешно, не правда ли, Помидоркин? Об этом уже тысячу раз было сказано. Избито все это, затаскано, замусолено до тошноты. Ты, я вижу, нахмурился, обиделся, что ли? Нет? Ну и хорошо, пойдем дальше. Ты главное, Помидоркин, не обижайся, привыкай.

Через несколько секунд молчания звуки Овощеводовского голоса снова заполнили пространство кабинета, и по мере их нарастания Помидоркину становилось все хуже и хуже.

— Ошибочки у тебя имеются, Помидоркин, ошибочки. Вот одну запятую не поставил, вторую...

— Вы на содержание смотрите. Ошибки на суть рассказа не влияют.

— Ишь ты какой! Не влияют! Что, шибко грамотный? Я, наверное, институт закончил и лучше знаю, что влияет, а что нет. Ясно тебе?

— Ясно.

— А если ясно, не перебивай, слушай и помалкивай. А то... — он снял пиджак и напряг бицепс, от которого туго натянулся рукав рубашки, — я, между прочим, в институте кэмэса выполнил и левой вырубаю наглушняк, — как бы ненароком, для размышления подкинул Овощеводов Помидоркину информацию, ископа поглядывая на него.

У Помидоркина екнуло сердце. «Господи, — взмолился он, — и зачем я только пришел сюда?».

В это время голос Овощеводова вдруг снова вывел Помидоркина из размышлений:

— Ты сколько классов закончил, Помидоркин?

— Десять.

— Сомневаюсь я, Помидоркин, сомневаюсь, — Овощеводов глубоко вздохнул и назидательно посоветовал: — Прежде чем взяться за перо, ты бы лучше, Помидоркин, русский язык выучил. Я лично за тебя ошибки твои исправлять не собираюсь. Ясно тебе?

— Ясно, — заливаясь краской стыда, ответил Петя.

— Ничего тебе, я вижу, не ясно. Фу, — снимая очки, отдышался Овощеводов, — хватит. Сил уже моих больше нет дочитывать твою писанину. Ты не обижайся, Помидоркин, честно скажу тебе, хуже рассказа я еще не читал. Муть голубая. Самая настоящая муть. Канцелярщина, казенщина. У нас бы в институте его не то чтобы читать не стали, а на пушечный выстрел тебя бы с ним не подпустили, — Овощеводов устало откинул свое тело на спинку стула и с удовлетворенным видом, постукивая пальцами по столу, продолжал рассуждать: — Эх, Помидоркин, Помидоркин, не выйдет из тебя писателя, не выйдет. Вот у нас в институте... А ты что это надулся, как мышь на крупу? Обиделся, что ли?

— Нет, не обиделся...

— Ну как нет, я же вижу, что обиделся...

— Господи, да нет же, — умоляюще ответил Помидоркин.

— Ты мне цацу-то из себя не строй, говори, обиделся? — очки Овощеводова грозно блеснули.

— Честное слово, нет... — со слезами в голосе произнес Петя.

— А что тогда нюни распустил?

— Не распустил. Я только хотел спросить, может, выйдет из меня... — Помидоркин глянул в глаза Овощеводову и осекся, какие-то неприятные паучки пробежали по его спине.

— Ну это уж слишком. Как ты мне надоел, Помидоркин, — Овощеводов привстал, бицепсы на его руках напряглись.

Увидев над собой зависшую скалу мускулов, Помидоркин почувствовал, что врастает в стул. Но сильная рука критика собрала его рубашонку в комок, и через мгновение Петя сообразил, что болтается в воздухе.

— Не выйдет! — закричал Овощеводов в лицо «птенчику».

Помидоркину первый раз в жизни удалось так близко увидеть человеческий рот. Он даже смог хорошо разглядеть красное небо, похожее на стиральную доску. Ему очень хотелось вырваться, но железная рука критика надежно держала свою добычу, а рот продолжал выкрикивать:

— Мне лучше знать, что из тебя выйдет... котлета отбивная из тебя сейчас выйдет... — кричал Овощеводов, сотрясая воздух своим «птенчиком», — после меня ты не только не будешь больше писать, но и мать родную забудешь... Понял, нет?!

— Понял... Честное слово, больше не буду и не забуду...

— То-то, — Овощеводов успокоился, аккуратно усадил Помидоркина на место, заботливо разгладил на его худых плечиках смявшуюся рубаху и с отцовской нежностью похлопал его по плечу.

— Не обиделся?

Но Помидоркин не ответил. Оказавшись на свободе, он вскочил со стула и, как ошпаренный, выбежал из кабинета. Петляя по коридору, он то и дело выкрикивал:

— Я не обиделся... не обиделся...

## ХОББИ

Васе Молоточкину загорелось вдруг жениться. «Ну что тут особенного?» — сказал бы любой из нас. Пожалуйста, тем более с возрастом, дипломом и здоровьем все в порядке, так что, ради бога, валяй, разводи детишек, не ленись. Но тут было малюсенькое «но», которое-то и мешало Васе реализовать свое проснувшееся желание. А вся суть этого проклятого «но» сводилась к следующему: не умел Вася знакомиться с девушками, вернее, не знал, чем привлечь их внимание. Не знал, и точка. К тому же, как назло, не было и друга, которому можно излить душу. Можно, конечно, еще вот так, запросто, подойти к любому на улице и спросить — научи, мол, подскажи. Но такую роскошь Вася позволить себе не мог — стыдобушка, засмеять ведь могут.

Соседи по комнате в общежитии, где Вася жил после распределения, тоже были ни то, ни се: один пьяница, другой умник — книжки только знал читать и все.

Так, может быть, и жил бы Вася дальше, если бы не произошел с ним один случай, даже и не случай, так себе, разговор один, который круто изменил всю дальнейшую его судьбу. А может быть, и не он изменил — неизвестно, но зато точно известно, что началось все с него, с этого самого случая.

Однажды после трудового дня Вася решил посвятить оставшуюся часть суток отдыху. Закинув ногу на ногу, а руки заложив за голову, Вася лежал на кровати и... нет, не поплевывал в потолок, как обычно говорят, а просто смотрел в него. Вот в такой позе мы и застали нашего героя. А застали мы его не в каком-нибудь фешенебельном шикарном отеле, с отдельным туалетом, ванной, телефоном и прочими буржуазными удобствами, а в комнате скромного общежития, с тремя квадратными метрами площади, тремя кроватями, одним столом, одной тумбочкой, и все это — на троих, без всяких ванн и туалетов.

Пьяница, как и полагается честным пьяницам, был уже пьян, безмятежно и тихо смотрел свои счастливые сны. Умник тоже, как и полагается умным людям, набирался ума — читал книгу. Картина серая, неприглядная, типичная для общежития так и

осталась бы неприглядной, если бы умнику вдруг не вздумалось для разнообразия пообщаться. Но так как в комнате для этого никого, кроме Васи, не было, он начал общаться с Васей. Без всякой задней мысли он стал рассказывать ему о жизни капиталистов, что они, мол, люди очень даже культурные, и что, кроме основной работы, у них у всех есть еще занятие, которое они называют хобби.

— Это значит, — пояснил умник, — захотел собирать, к примеру скажем, марки — пожалуйста, захотел паровозы — пожалуйста, а если есть способность к сочинительству, то на здоровье, пиши, бумаги там завались.

Молоточкин слушал, слушал умника и вдруг — чмок — приклеил к его глаголовшим устам благодарный поцелуй.

— Спасибо, надоумил, — как мог объяснил Вася обалдевшему умнику свой поступок.

Скажем для справки: Вася был не глуп и, разумеется, мысли имел тоже неглупые: «Паровозы, конечно, мне собирать не разрешат, но писать никто не запретит». Жребий был брошен, и Вася не стал откладывать его в долгий ящик.

В то же утро Зиночка Хвостикова, коллега Васи, не ведая ни духом, ни сном, вдруг стала жертвой его жребия, того самого, который Вася не захотел откладывать в долгий ящик. Для того, чтобы стать жертвой подобного рода, у Зиночки Хвостиковой имелись кой-какие основания: стройные, в черных колготках ножки и кожаная, малюсенькая, шириной в ладонь, да еще с разрезом, юбочка, иногда, скажем прямо, туманили Васин ум и будоражили в нем молодую кровь мужчины. Но Вася как-то робел перед Зиночкиными колготками — уж слишком откровенным казался ему Зиночкин туалет. А откровенность, как правило,стораживает. Но после приобретения от умника богатейших знаний Вася стал смел, как лев.

Все рабочее время Молоточкин не отрывал взгляда от Зиночкиного романтического профиля. Зиночка краешком глаза видела Васины назойливые взгляды, смущаясь, старалась не смотреть в его сторону. Она чувствовала: одну щеку, что со стороны Васи, почему-то стало изрядно припекать. Зиночка мужественно боролась с этим необычным явлением, сулившим в перспективе крутые перемены. Как и всякая уважающая себя девушка, Зиночка старалась не замечать Васиных атак и делала вид, что полностью поглощена работой.

В конце рабочего дня Вася вызвался проводить Зиночку до дому. Поскольку он был стратег, то по дороге предложил Зиночке завернуть к нему на чай. Зиночка тоже была стратег, и согласилась, но предварительно, разумеется, дала себя немножко

поговоривать, ровно столько, сколько сочла необходимым, чтобы не показаться совсем уж сговорчивой. Когда Зиночка увидела своими глазами, где обитает ее новый кавалер, то сочла себя вполне оскорбленной подобным сервисом. Румянец с ее лица исчез. Она надула губки и весь вечер почти не разговаривала с Васей.

По взглядам Вася был реалист, и в основу своего творчества старался вложить неподдельный, натуральный и живой смысл бытия:

Ты у меня всю ночь была,  
И не совру: была нога.  
И в необузданном пылу  
Я целовал твою ногу.

После прочтения такого куплета перед коллективом во время обеденного перерыва, все сотрудники, как сговорившись, повернулись к Зиночке. Она почувствовала, что на сей раз ей стало припекать обе щеки. Вася понял, что его все поняли. Гордясь простотой и доходчивостью своего письма, он подмигнул Зиночке — дескать, знай наших, и уже было хотел продолжить, как вдруг Зиночка шумно встала, и ее черные колготки в разрезе кожаной юбки, быстро замелькали к выходу. Вася — за ней. «Бац!» — разрывая гробовую тишину, влетел в чертежную знакомый всем мужчинам звук. За ним, угнетенный и подавленный, с красной щекой вошел Вася. Настроение было испорчено на весь оставшийся день. Отношения с Зиночкой — тем более.

После этого случая Вася долгое время чувствовал себя не лучше разбитого корыта.

Но однажды, получая потом политую заработную плату, Вася не досчитался, как это нередко бывает, некоторой ее части. В подобных случаях любому из нас сразу же пришел бы в голову один-единственный вопрос — почему мало? Молоточкин не был исключением, и ему тоже пришел в голову этот вопрос, более того, он еще задал его кассиру. Тот культурно, разумеется, отправил его куда следует, а это значит — в бухгалтерию, и Вася последовал.

Представ перед пышной и румяной, словно только что выпеченная сдоба, бухгалтершей, Вася растерялся и почти забыл, зачем пожаловал. Он залюбовался ее полными, коротенькими пальчиками, которыми она с удивительной ловкостью копошилась в бумагах, словно играла с ними. И Молоточкину почему-то подумалось: «С длинными здесь делать нечего — запутаешься». Ее розовый ротик показался ему настолько крохотным, что он невольно сравнил его с пуговицей от своего пиджака. Еще через мгновение Вася уже был влюблен по уши, и уже совсем забыл,

зачем пришел. Еще бы несколько таких мгновений, и Молоточкин предложил бы пышущей здоровьем бухгалтерше руку и сердце, но поскольку он был стратег, то не стал торопить события, а ограничился лишь знакомством и предложением проводить. Зюечка тоже была стратег и не сразу согласилась, а дала предварительно себя поугуваривать, но лишь настолько, и не на полслова больше, насколько ей могли позволить ее женские прелесть. По дороге Молоточкин предложил завернуть на чай, и они завернули.

Познакомившись с Васиным сервисом, Зюечка недовольно поджала губки и почти весь вечер не разговаривала. Желая хоть чем-то компенсировать свой промах, Зюечка изъявила желание откусать. Вася мигом соорудил чай (а что еще можно соорудить в советском общежитии?), достал из общей тумбочки чудом уцелевшие общие пряники и стал потчевать ими Зюечку. Он рассказывал ей о разных чудных мгновениях, а сам исподтишка глядел ее пухленькие пальчики. Зюечка слушала и кушала пряники, припивая их чайком. А когда кончились пряники и чай, она стала прощаться. Вася, остановив Зюечку, предложил ей на десерт собственные сочинительства. Она села на место и нетерпеливо застучала пальчиками по столу. Вася собрал все свое мужество и одним залпом выпалил:

В ту ночь я пламенно вздыхал.

Все оттого, что обнимал

Я в необузданном пылу

Твою я толстую...лардон...полную ногу,.. — поправился Вася, и его лицо расплылось в простодушной улыбке. Но поправка пришла поздно и стала для него роковой. Зюечкины пальчики вдруг — бац! — смачно приклеились к Васиной щеке. От такой увесистой благодарности Вася кувырком съехал со стула, словно его на нем и вовсе никогда не было. А умнику сразу же расхотелось читать, и он залез под одеяло. Даже пьяница перестал храпеть и притих, как мышь.

— Дурак, — презрительно бросила Зюечка в лицо Васе, и ее ножки, только что воспетые музой поэта, в секунду вынесли свою хозяйку из Васиных трех метров в квадрате.

Настроение было испорчено на целую неделю, отношения с Зюечкой — навсегда.

Конечно, на этом можно было бы и закончить, но дело в том, что эта история с хобби имела продолжение, и совсем даже необычное.

Сколько прошло после этого случая времени, неизвестно. Да это и не важно. Однажды случилось так, что в конце отчетного периода Васю повысили в должности, а, стало быть, и в окладе,

а затем наделили из каких-то фондов отдельной квартирой как молодого специалиста.

Теперь Вася не стоял у чертежной доски, а сидел за столом заведующего и уже не чертил, а писал.

Он почему-то чаще стал видеть Зиначкины черные колготки у своего стола, теперь они подходили к нему плавней и значительно. Они уже не мелькали, как раньше, стараясь быстрее скрыться, а останавливались, словно хотели подольше побыть у него на глазах. А однажды они подошли к Васиному столу близко-близко:

— Здравствуй, Вася...

Вася посмотрел на Зиначку и увидел в ее глазах такую грусть и тишину, что сразу забыл, где он и что с ним.

— Здравствуй, — так же тихо ответил он и смутился.

— Как твои дела творческие? — спросила Зиначка и вдруг, совсем перейдя на шепот, заговорила:

— Я так люблю твои стихи. Прочти что-нибудь.

От такого признания Вася потерял дар речи. У него от волнения загорелись сразу обе щеки. Он с радостью прочел бы что-нибудь, но, к сожалению, уже давно забросил свое хобби.

— Это правда, что вы любите мои стихи? — придя в себя, еле слышно спросил Молоточкин.

— Правда, Вася...

— Но я не профессионал. Это лишь мое хобби.

— У тебя прекрасное хобби, Вася, — тоном, внушающим глубокое доверие, пропела Зиначка.

— Ах! — только и смог произнести Вася.

Настроение его улучшилось, отношения с Зиначкой — тем более...

Как и все страждующие люди на земле, Вася страстно любил день получки и, тоже как и все, страшно не любил мешкать с этим делом. Но бывают случаи, когда приятные дела становятся неприятными. Случилось так, что в числе получателей Васи почему-то на этот раз не оказалось. Любопытно, естественно, сразу же спросил: почему? Вася, как известно, не был исключением и спросил. Его отправили — разумеется, очень вежливо — куда следует, и Вася последовал. Возмущенный и злой, он предстал перед Зюечкой. Та посмотрела на Васю так преданно и ободряюще, что Вася почти забыл, зачем пожаловал.

— Здравствуй, — тихо промолвила Зюечка и виновато опустила глаза.

Васе стало жаль Зюечку до слез. Но Зюечкины теплые пальчики нашли Васину, неизвестно как оказавшуюся на столе руку, и страстно пожали ее. После чего Вася совсем растерялся и уже

окончательно забыл, зачем пожаловал. Он только глубоко вздохнул и почувствовал, как жгучий румянец покрыл все его лицо и стал уже пробираться к ушам и шее.

— Не надо, Вася, — успокаивающе прошептала Зочка, — лучше прочти что-нибудь.

— Что, прямо сейчас? — удивился Вася.

— Да.

— Но я не профессионал. Это только мое хобби.

— Я очень люблю твое хобби, Вася.

— Правда?

— Правда, Вася.

— Ах, — только и смог произнести Вася.

После работы запыхавшийся, красный Вася как шальной влетел к умнику в комнату и — чмок! — вlepил в его уста долгий и искренний поцелуй.

— Спасибо, — благодарил Вася, прижимая к себе вконец обалдевшего умника, — выручил, надоумил. Только благодаря тебе желание мое сбылось...

## ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ

В одном из окон стандартной панельной пятиэтажки, несмотря на поздний час, горел свет.

Хозяин квартиры, бывший преподаватель с кафедры литературы Лавр Никодимович Котлеткин, давно заслужил приличную пенсию, право хоть круглые сутки играть в домино и, в придачу ко всему этому, склероз.

В зале его квартиры, таком же прямоугольном, как и все залы всех пятиэтажек нашей страны, собрались бывшие коллеги Котлеткина.

Все они давно его не видели и горели нетерпением послушать его лекции, которые раньше им очень нравились.

Котлеткин радовался собравшимся гостям, разливал им крепкий чай и очень умно и вдохновенно рассуждал о литературе и ее проблемах.

— Литература, — говорил он, — не что иное как выражение одной из форм любви. Он умиротворенно поднял к потолку глаза и хотел уже завершить свою мысль, но увидев там нехрустальную, но почти из хорошего стекла, люстру, нашел ее запыленной и подумал: «Карга старая, совсем облепилась. Ну да ладно, разберемся...» Он поднес к губам дымящуюся нежным парком чашку, осторожно отхлебнув, спросил:

— Итак, на чем я остановился?

— На любви...

— Спасибо. Ясно. Так вот, современная любовь, особенно это касается молодежи, она...

— Вы говорили о любви к литературе...

Лавр Никодимович с недоумением посмотрел на кинувшего реплику молодого человека, затем обвиняюще покосился на люстру, принес тысячу извинений и продолжил:

— Так вот, литература есть, в сущности, проявление любви к слову, — он взял из не хрустальной, но почти из хорошего стекла вазы, кругленькую конфету, кинул ее в рот и посасывая, зашепелявил:

— Помнится, хе-хе, преинтереснейший случай в моей жизни. Я тогда был молод, полон сил и надежд и имел, так сказать, все необходимые данные для того, чтобы пошалить. Я это в смысле любви, — Котлеткин для большего понимания мигнул присутствующим мужчинам, сделал глоток и хотел уже продолжить, как вдруг его прервали:

— Лавр Никодимович, вы обещали о литературе...

— Что? — непонимающе и слегка раздосадованно поднял Котлеткин брови на сделавшую замечание молодую особу, но, к счастью своему, вспомнил, для чего собрались гости, поправился:

— Пардон. Понято. Продолжаю. Так вот, литература — это э-э, помните у Пушкина: «Я вас любил...» или у Тютчева: «Я встретил вас...», обязательно связана с любовью к женщине. Помнится случай... хе-хе, я еще в студентах за своей старухой ухаживал...

— Лавр Никодимович, разрешите перебить вас?

— Пожалуйста, я слушаю.

— Вот вы привели пример с Пушкиным и Тютчевым...

— Так, так, — понимающе, но не понимая закивал Котлеткин.

— Что вы хотели этим сказать?

— Ах, да, да, — как бы ища в своей голове утерянную мысль, поцарапал затылок Котлеткин, — вопрос резонный, отвечаю, — на этот раз, к своему несчастью, он не вспомнил и не нашел, что потерял, но продолжить продолжил, — помнится, хе-хе, когда я это... приухлестнул за своей, то ведь тоже стал пописывать...

— Лавр Никодимович?

— Что такое? Я слушаю.

— Конечно, любовь это хорошо, но хотелось бы ее с литературой как-нибудь связать...

— Тысячу извинений, друзья, тысячу извинений, — Котлеткин подлил гостям и себе чаю, скушал очередную конфету, дуя

на кипяток, запил и, наконец, вспомнил, что хотел вспомнить, но заметив на краешке чашки полустертые, но еще хорошо видимые, следы губной помады, подумал: «Ну хрычовка старая, опять посуду не помыла. Ну да ладно, разберемся...» Он осторожно осмотрел приборы гостей и, не найдя ничего подозрительного, воодушевленно заговорил:

— Интересно, кто внушил женщинам дурацкую манеру краситься? Это же ведь целая социальная трагедия! От нее одни неудобства, особенно, хе-хе, нам, мужчинам, — он снова мигнул мужской половине, затем, тщательно осмотрев свою чашку, отхлебнул с противоположной от помады стороны, продолжил, — помнится...

— Лавр Никодимович...

— Я весь внимание, друзья, говорите.

Гости вдруг как-то тревожно зашевелились, задвигали стульями и почему-то все разом заговорили:

— Спасибо вам, Лавр Никодимович, за содержательную, интересную беседу, но час поздний... не будем утомлять...

— Ну что вы, помилуйте, — развел в умилении руки Котлеткин, — какое может быть утомление, ничуть. Напротив, я прекрасно себя чувствую и могу еще кое-что рассказать. Помнится, хе-хе.

— Спасибо, спасибо, Лавр Никодимович, но час поздний, не будем мешать, отдыхайте...

— Поверьте, друзья, — пытался убедить Котлеткин уходящих гостей в хорошем своем здоровье, — я совсем даже не устал. Напротив, я прекрасно себя чувствую и могу еще...

— Нет, нет. Не нужно, — прощаясь, протестовали гости, давая понять хозяину, что они сильно беспокоятся о его здоровье.

— Но я не болен, друзья, — говорил вслед уходящим гостям Котлеткин. Он даже в подтверждение этому напряг на правой руке бицепс.

Но гости, не смотря ни на что, уходили.

А Котлеткин, все еще пытаясь их удержать, уверял:

— Помилуйте, друзья. Я ничуть не устал. У меня отличное здоровье...

## ПЕРЕСТРОИЛСЯ

Директор объединения крайоблрайспиртвинпивпланснаб-быт товарищ Бюрократов выступил на экстренном заседании своей организации с длинной, но красивой речью, в которой, как

и полагается, поругал бюрократизм, поддержал мнение, разумеется, вышестоящего учреждения о переходе своей фирмы на самофинансирование и самокупаемость, попутно убедил коллектив в необходимости такого решения, затем поставил вопрос на голосование, полюбовался лесом рук и поулыбался бурному рукоплесканию, поблагодарил за внимание и, преисполненный гордости за проделанную работу, покинул зал.

В хорошем расположении духа он вышел на улицу, вдохнул в свои легкие добрую порцию городского воздуха и, решив отметить сытным обедом удачное выполнение указаний своего начальства, направился в любимый ресторан.

Шофер Вася по привычке ловко, как на блюдечке, подал «Волгу» к его ногам.

Вместо того, чтобы сесть в машину, Бюрократов строго спросил:

— На собрании был?

— Нет, — виновато поднял тот на шефа глаза.

— Плохо. А то знал бы, что мы уже начали работать и жить по-новому.

— Как это? — наивно и непонимающе спросил Вася.

— С этого дня мы на хозрасчете.

— Ну да? — удивленно протянул Вася.

— Теперь будем самофинансироваться и самокупаться.

— Вот это да! — восхищенно, как на святую мадонну, уставился на шефа Вася.

А тот для пущей важности трибунно заключил:

— Конец бесхозяйственности! Так что давай в гараж, а я пешочком, ясно?

— Ясно, — бойко отрапортовал Вася, хотя ему вообще ничего не было ясно. Ясно было одно — быстрее с глаз, и он это сделал так же ловко, как и появился; исчез с машиной с глаз Бюрократова.

В ресторане Бюрократов сел за свой любимый стол и стал ждать своего любимого официанта Петю. Но Петя не торопился обслуживать, он отчего-то быстрее обыкновенного бегал меж столиков и Бюрократову пришлось его ожидать. А когда Петя появился у его столика, Бюрократов полюбопытствовал:

— Отчего долго, друг?

— Перестраиваемся, Иван Иванович, единицу официанта сократили. Теперь один кручусь за двоих.

— Молодцы, — похвалил Бюрократов Петю, — мы тоже наполовину штат свой сократили. Вот это настоящий хозрасчет, — и не устояв от соблазна прихвастнуть уже достигнутыми резуль-

татами, как бы между прочим, шепнул, — я даже уже пешком хожу — бензин экономлю.

— Вы — настоящий руководитель. Вам что принести?

— Любимое.

— Понято.

Петя с проворством юлы исчез за полированной перегородкой официантской, а Бюрократов придался счастливым грезам о перестройке. Ему виделось, что он всюду ходит пешком, а потом на сэкономленный бензин профком организует на выходной выезд рабочих на природу. Узнав об этом, рабочие проникаются к нему сыновней любовью и навечно избирают его своим руководителем.

Долго бы еще предавался счастливым думкам Иван Иванович, если бы его пустой желудок сильным урчанием не напомнил хозяину о своем существовании. Бюрократов с большой неохотой вернулся к действительности. С тревогой глянул на часы — Пети еще не было. Бюрократов заволновался, желудок — тоже. Но вот, наконец, Петя тем же манером вывернул из-за перегородки и, кружась, подъехал к Бюрократову, поставил на стол взявшуюся паром котлету с жареной картошкой и хотел уже отбыть, как вдруг заметил, что его подопечный недоверчиво смотрит на принесенное, и успокоил:

— Это ничего, что не дошла картошечка. Скажу по-дружески, некогда ей, родимой, выжариваться. Кухня тоже перестроилась — двух поваров сократили, а техничка с сантехником помогать изволют. А если между нами — каки из них хрен специалисты?

— Бригадный подряд называется, — блеснул знаниями Бюрократов.

— Он самый, Иван Иванович, да вы не бойтесь, кушайте, — и желая показаться остроумным, пошутил, — что на сковороде не дожарилось, там дойдет... хе-хе...

— Ха-ха, — поддержал показавшуюся удачной шутку Бюрократов, но о количественной величине конечного результата бригадного подряда все же осведомился:

— А побольше нельзя было?

— Что вы, что вы, Иван Иванович, мы же на хозрасчете, и наш девиз: «Ни крошки лишней».

Бюрократов ощупал голодными глазами жидкую фигурку официанта, тот сразу произнес:

— Ну, я полетел.

И действительно, Бюрократов и глазом моргнуть не успел, как Пети уже и след простыл. «Трудное, но великое дело — перестройка», — подумал Иван Иванович и под влиянием нового

времени даже не заметил, как начал уплетать не внушающую доверия котлету.

Через некоторое время, сидя в своем кабинете, Бюрократов почувствовал, что его желудок стал пошаливать — видимо, не разделял мнения своего хозяина о новой форме организации труда в ресторане. Иван Иванович попытался внушить заевшейся утробе все перспективы такого метода хозяйствования, но желудок, видимо, не был подготовлен к столь резкому переходу или просто не хотел перестраиваться, а все сильнее и сильнее капризничал. Тогда Бюрократов стал ублажать его крепким чайком, принесенным молоденькой секретаршей. Но и этот аргумент не смог убедить настырный орган. К концу рабочего дня Бюрократова увезли в больницу.

Изолированный от здорового общества, напичканный необходимыми лекарствами от внезапно приключившейся болезни, которая известна была ему по простонародной номенклатуре как понос, поостывший от дневных настроений, немного похудевший и расстроенный, Бюрократов уже не думал о происходящих переменах в своем учреждении. Его все больше занимала проблема пищеварительного плана. Теперь он только и делал, что распространял о ней друзей по несчастью, находившихся с ним в палате. И ему казалось, что более интересной темы, чем понос, в настоящее время просто нет.

Надумавшийся до боли в голове и до тоски в сердце, Бюрократов к ночи, лежа на белой постели, пахнувшей хлоркой, окончательно лишился сна. Сколько он не ворочался, не убеждал свою голову заснуть, не получилось. Кроме боли в ней ничего не было.

В надежде найти спасение, Бюрократов встал, надел полосатый халат и вышел из палаты. В коридоре он нерешительно подошел к столу дремавшей медсестры и, поведав ей о содержимом в голове, попросил что-нибудь для удаления настоящего оттуда.

Сестра глянула на странного полуношника глазами неумолимого надзирателя, объяснила:

— Не могу, мы на хозрасчете, и наш девиз: «Ни одной лишней таблетки».

— Но у меня голова раскалывается, — попытался убедить ее Бюрократов.

— Не видно, чтобы она у вас раскалывалась.

— Но этот процесс визуально не виден.

— Не морочьте мне голову, товарищ больной. Придет утром врач, осмотрит вас, поставит диагноз, выпишет требование на склад, получит таблетки и только после этого...

— Какой склад? Какое требование? — возмутился Бюрократов. — Может, к утру я уже умру.

— Не беспокойтесь, товарищ больной, морг у нас тоже на хозрасчете. Ребята там работают сдельно и вполне будут рады видеть вас у себя.

— Что, и они работают по бригадному подряду?

— Вы что, газет не читаете? — со строгим удивлением спросила медсестра. — Стыдно.

— Читаю, — боясь показаться невежей, соврал Бюрократов. Сейчас он ругал себя за то, что слишком увлекался спортом и проблемой спида за рубежом. А в душе сто раз поклялся наверстать упущенное, лишь бы уломать эту бюрократоршу...

— Так в чем же дело, товарищ больной? — вывела из раздумий Ивана Ивановича медсестра и наставила на него сверлящий взгляд.

Встретившись с его стальным блеском, Бюрократов решил действовать, как действовал в старые добрые времена великого застоя.

— Дело в том, что я Бюрократов, — шепотом и почти магически произнес он свою фамилию.

— Ну и что?

— Как что? — недоуменно возвел брови почти на самый лоб Иван Иванович. Но подумав, что медсестра его не поняла, повторил: — Это моя фамилия — Бю-ро-кра-тов. Теперь, надеюсь, вы меня понимаете?

— А по мне хоть Новаторов. Сказано — на хозрасчете мы, и точка, — как шашкой рубанув, отрезала дежурная.

Бюрократов понял, что этот номер ему не прошел, потребовал:

— Тогда позовите мне врача.

— Да, товарищ больной, теперь я твердо знаю, что газет вы не читаете. Еще раз объясняю — мы на хозрасчете и штат свой сократили вдвое. Врачи у нас теперь находятся дома. Ясно вам?

— Ясно.

— А раз ясно, идите отдыхайте.

Сколько Бюрократов не требовал, не умолял ее дать ему таблетку от головной боли — бесполезно.

Утром, когда пришел врач и спросил, на что жалуется больной, Бюрократов, как малое дитя, сквасил губы и захныкал:

— Я не хочу перестраиваться... не хочу...

## ЦВЕТЫ СРЕДЬ СБРУИ, ИЛИ НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ

В небольшом кабинете местной газетенки: «Путь к коммунизму» было тесно и душно. Собравшиеся работники с интересом слушали рассказ некоего Бархударова. В редакции подобные

события были редкостью, и потому стояла такая тишина, что было слышно как летают мухи.

Бархударов был молод, и подобное положение для него было еще непривычно, поэтому, читая, он волновался, сбивался, краснел и поминутно вытирал носовым платком лицо.

Рассказ назывался «Неудачная любовь», а суть его сводилась к следующему. Один паренек влюбился в девушку, папа которой окончил факультет журналистики и много лет работал в областной газете. Дочь очень гордилась им, много рассказывала своему поклоннику об отце, о его профессии — трудной, но интересной. Молодой человек от этих рассказов постепенно проникся к ее отцу симпатией и уважением. Однажды девушка пригласила молодого человека к себе домой, познакомила с родителями и, оставив мужчин одних, ушла с мамой на кухню готовить чай. Поговорив, один мужчина, чтобы скоротать время, стал листать подшивку журнала мод, другой, чтобы не терять его зря, занялся журналистскими творениями. Обложившись центральными газетами, вырезал из статей определенной темы абзацы, предложения, склеивал их на чистый лист, а затем перепечатывал на машинке готовую статью, но уже как свою. Молодой человек, хоть больше склонен к моде, все же допетрил, что к чему, и из его молодой души, как метлой, вымело все уважение и симпатию. И что самое удивительное — вместе с любовью к дочери.

Бархударов дочитал рассказ, глубоко вздохнул, вытер платком раскрасневшееся лицо и, как будто совершив что-то недоброе, виновато потупился. Весь его вид говорил: «Ну, вот и все — судите». Ему показалось, что на какое-то время все вокруг умерло, мух и тех не было слышно. Затем кто-то скрипнул стулом, кто-то кашлянул, и, наконец, Бархударов услышал голос редактора. Ему сразу представилось его сухое, морщинистое лицо. Говорил он тягуче и в нос.

— Ну, — начал он. — у кого какие будут предложения?

С места скорее подскочил, чем поднялся, энергичный корытщик, с большой, в форме подборной лопаты, бородой и маленькими, быстрыми глазами.

— Можно мне? — спросил он и, не дождавшись разрешения, жарко заговорил: — Я выскажу сугубо свое мнение, пока вы, Лавр Семеныч, — он обратился к редактору, — своим авторитетом не задавили нас, грешных, а то потом не успеем... хи-хи...

Лицо редактора от улыбки собралось в гармошку, на нем черным по белому было написано — так оно и будет.

— В рассказе, — после шуточки и общего смеха продолжил бородач, — про молодого человека, есть деталь... Я не говорю, что рассказ плох, но повторяю, в нем есть деталь,

которая, я бы сказал, делает его не совсем удачным, бросает тень на нас, журналистов, тем более на людей, занимающих ответственные посты. Отец девушки окончил университет, но занимается плагиатом! Это подрывает наш авторитет в глазах масс. Не спорю, может, и есть отдельные лица, но я думаю, не нужно писать так резко, в лоб. Надо помягче, погибче, ну, скажем, он не университет закончил, а институт или вообще ничего не заканчивал, и работает не в областной газете, а, скажем, в районной. И если бы эту деталь устранить, рассказ получился бы...

— Товарищи, — подал голос на вид древний, как сама жизнь, старик, — извините, я не буду вставать — у меня коленка прострелена, я вполне согласен университет заменить институтом или вообще лишит его, к чертовой матери, образования...

После резонного предложения старика тяжело, словно поднимаемый домкратом, встал молодой, но уже лысый и в очках мужчина. Глаза его сидели глубоко, как горшки в русской печи и казалось, что их не достать даже ухватом. Говорил он медленно и с натугой, напоминая дувшегося на горшке малыша.

— Я мыслю следующее, — он снял очки, протер стеклышки платком и, надев, продолжил, — рассказ не состоялся. И вся причина в его названии. Если мне не изменяет память, автор озаглавил его «Неудачная любовь», так? Так. И если читатель возьмет его, сразу поймет, что речь в нем пойдет о неудачной любви, так? Так. Следовательно, не станет читать, так? Так. Думаю, если рассказ сменить название, то можно считать его состоявшимся. Например, я бы обозвал его так, — он снял очки, задумался, покусал кончик ободка и, надев, высказался: — «Цветы средь сбруи». Интригующе? Конечно. Непонятно? Конечно. Такой рассказ, не знаю как вам, а мне лично сразу читать захотелось...

— Товарищи, — взял слово старик, — вы извините меня, я не буду вставать — у меня коленка прострелена, но зато я согласен любовь заменить на сбрую...

После очередного предложения старика выступил симпатичный толстячок. Заботливо положив на выпуклый животик свои ручки, он на некоторое время задумался. Его мясистое, добродушное лицо сделалось серьезным.

— Ну, — переступив с ноги на ногу, наконец-то начал он, — разбираемое здесь произведение заставляет меня прийти к выводу, что автор в некоторой степени склонен к архаизму, который не желателен в современной литературе. А именно, — толстячок потоптался, — в рассказе есть такое выражение; «...его лицо от стыда залилось краской...» Я думаю, так писать нельзя. Это

ошибка. Грамотней сказать: «...он от стыда покраснел...» И вот, если «залилось» заменить на «покраснел», то пожалуй, рассказ можно будет и напечатать...

Толстячок сел.

— Я не буду вставать — у меня коленка прострелена, но зато я согласен, чтобы его лицо покраснело, и тогда все пойдет, как по маслу, — по-военному, дробью сыпанул свою речь старик.

После каждой речи подчиненных редактор вежливо улыбался. Как меха трехрядки, одобрительно поигрывали на его лице морщины.

Дослушав последнего, он поучительно и нудно загнусавил:

— Я внимательно слушал, и мне показалось, что рассказ похож на огромную глыбу, — он развел руками, показывая воображаемую глыбу, — но еще не отесанную. Автор аналогично зодчему, взяв в руки резец и молоток, начал выбивать нужные ему формы. Еще не закончив, он спешит показать его специалистам. Те, естественно, дают справедливую оценку. Молодому человеку надо исправить указанные ошибки. После чего можно приступить к публикации.

Бархударов слушал отзывы о своем рассказе, вытирал с лица пот и думал: «Почему я должен менять то, что было, на то, чего не было? Как поступить? Может быть, так и надо? Ох, и не легкий же этот путь...»

## С МОДОЙ В НОГУ

Начальник отдела Коробкин вернулся от директора завода хмурый и задумчивый. Сел за свой широкий стол и обвел своих подчиненных придирчивым взглядом.

— Та-ак, — протянул он.

Сотрудники опустили глаза и зашелестели бумагами. Долгий опыт подсказывал, что если патрон начал разговаривать междометиями, добра от него не жди.

— Голубкин, — позвал он одного из своих коллег, — какой у нас в начале года был лозунг?

— Как какой, Иван Иванович? Не помните? «Ни одного отстающего рядом». Нам еще всем коллективом над отчетом Тюрина пришлось попыхтеть, когда он на месяц к любимой теще уезжал, вспомнили?

— Не на месяц, а на пятнадцать дней, — обидчиво поправил Тюрин.

— Ну и что, все равно ездил...

— Тихо, не спорьте. Сейчас не до этого. А во втором квартале? «Перевыполнить план на десять процентов». Балбошкин с Кукушкиной в отчетах еще вместо нулика палочку подставили, а вы подписали. Нам всем тогда по двадцать тысяч премии дали, а вам — пятьдесят, вспомнили? Шеф от такого воспоминания недовольно застучал пальцами по столу. Коллеги настороженно притихли. Иван Иванович долго шевелил бровями и, наконец, изрек:

— Критика и самокритика у нас в коллективе, товарищи, поставлены плохо. Надо бы подтянуться. В конструкторском она уже полным ходом идет. И мы, товарищи, не хуже их, я думаю.

— Не хуже, — дружно отозвался отдел.

— Вот давайте сейчас и начнем.

— Что, прямо сейчас? — дружно удивился отдел.

— А что, как говорится, быка за рога. Вот ты, Петушкова, кого бы покритиковала?

— Курочкина, — сразу включилась в работу оперативная Петушкова.

— А почему меня?

— А на прошлой неделе кто нас с Рыбкиной домой не подвез? А взял Квакшину из бухгалтерии, эту выдру?

— И вовсе она не выдра, — неуверенно заступился Курочкин.

— Все равно. Не подвез? Нет.

— Правильно, — поддержал Петушкову Голубкин, — помнится как-то, и меня не взял. Жмот.

— Частник.

— Капиталист.

— Скупердяй несчастный, — дружно заседали коллеги.

Курочкин не отбивался. Он сидел красный, как болгарский фаршированный перец.

Критика разгоралась и кипела. Деятельная Носикова не успевала строчить протокол.

— По очереди, товарищи, не все сразу.

И лишь в пять ноль-ноль закончили.

На следующий день у Голубкина лицо было цвета томатного соуса. И так у всех по очереди: у кого оно принимало цвет спелой вишни, у кого свеклы или недозревшей сливы. У некоторых даже умудрялось воспроизвести оттенок вареного яйца или майонеза.

В конце месяца шеф улыбнулся и облегченно выдохнул:

— Фу, наконец-то, обошли конструкторский.

Вздых облегчения прошел и по отделу. Долгий опыт работы подсказывал, что если патрон испустил подобного рода дух, быть

климату в коллективе безоблачному и без всяких осадков, словом, близкому к потеплению.

Но недолго над отделом сияло солнце. В начале следующего месяца тучи стали сгущаться. Потянул холодный норд-ост. Снова патрон вернулся с утренней планерки пасмурный и задумчивый. Сел за свой широкий стол и обвел своих подчиненных придиричивым взглядом, но коллеги дружно подняли паруса бумага и холодный норд-ост, ткнувшись в упругий ничем не прибиваемый материал, умирающе зашелестел в нем.

— Отстаем мы, товарищи, от жизни предприятия. В конструкторском уже давно практикуют метод понижения своих коллег в должности. Мы снова от них приотстали. Надо бы подтянуться, — глуша легкой шелест просоленным голосом опытного кормчего, произнес трагическую речь Иван Иванович.

Коллеги настороженно притихли.

— Петушкова, — позвал он своего первого помощника по трудовому кораблю, — ты у нас как профком отдела, тебе и карты в руки, предлагай.

— Курочкина, — сразу включилась в работу оперативная Петушкова.

— А почему меня?

— А кто на восьмое марта подарил мне открытку, а Квакшиной из бухгалтерии, этой выдре, цветы, а? Кто?

— И вовсе она не выдра, — неуверенно заступился Курочкин.

— И мне открытку, — возмутилась деятельная Носикова и начала строчить протокол.

— Не хочу! Не согласен! — неистово запротестовал Курочкин. — Что я скажу дома жене? — поставил веский аргумент он.

— А так и скажи, что брал цветы Квакшиной из бухгалтерии, — злорадно ответил Голубкин.

— И вообще, почему, — вдруг от негодования задохнулся Курочкин, — почему мы, мы должны кого-то критиковать? Кого-то понижать? А, может, в этом-то и нужды нет? Неужели из-за того, что так делает кто-то другой? Но у них одно, а у нас — другое. Нам-то виднее. Я так мыслю.

В отделе воцарилась такая тишина, какой не видывали с самого своего рождения эти стены. Все с изумлением и удивлением смотрели на Курочкина. И даже шеф. Происходящее смахивало на бунт. И всем было непонятно: откуда это у него? Но исключительно все, даже шеф, поняли, что Курочкин действительно мыслит.

Наизумлявшись досыта, отдел повернулся своими десятью головами в сторону шефа. Даже деятельная Носикова перестала

строчить протокол. Шеф на этот раз дольше обычного шевелил бровями и наконец изрек:

— Неправильно думать: у них одно, у нас другое. Это местничество. У нас с Вами одно общее дело. Надо мыслить масштабами всего предприятия, а не одного отдела. И замечу — виднее руководству, а не нам. В данной обстановке, которая сложилась сейчас, вынужден напомнить некоторым присутствующим здесь, — Иван Иванович строго покосился на Курочкина, — что правильная позиция коллектива та, которая отвечает современному ритму жизни и пониманию требований времени. Уж если все берется за какое-нибудь новое дело, то, как бы то ни было, и нам приходится вливаться в общие ряды. И, я думаю, мы не хуже других.

— Не хуже, — дружно отозвался отдел.

— Время — оно как мода, — продолжил Иван Иванович, — и с ним нужно идти в ногу. И я думаю понятно, кого надо понизить в должности.

— Понятно, — дружно поддержал отдел...

## ЗНАКОМЫЙ ЗАПАХ

Как известно, шофера народ юморной, бывалый. Много ездят. Много видят. Есть что рассказать. Сойдутся где-нибудь в укромном месте, анекдоты травят, случаи всякие рассказывают. Но больше всего любят поболтать об историях любовных, которые произошли с ними в дороге.

Коля Приживалов был еще молод. Мало ездил. Мало видел. Слушал эти самые истории, да на ус их наматывал и горел желанием поехать в рейс. И поехал...

— Коленька, бельишко возьми тепленькое, — суетилась жена, собирая своего мужа в первый в его жизни рейс, — покушать что положить?

— Ничего...

Волнуясь, торопливо собирался Николай, а мысли роем шумели в голове. О дороге думалось. Не до еды было.

— Не пушу голодного. Молочка хоть выпей, — приступила с трехлитровой банкой жена.

— Ладно, — чтобы побыстрее отвязаться от нее, сдался Николай и мигом справился с двумя стаканами.

— Плащ возьми. Мало ли что, — заботливо подала она длинную брезентуху.

Коля посмотрел на плащ, смекнул: «Пожалуй, подойдет. Прилечь может где придется». И, не мешкая, влез в него. Плащ до пят болтается, а Коленька ласково осматривает его и кумекает: «Действительно, мало ли что?»

В свой первый рейс Приживалов ехал, как влюбленный на свидание, возбужденный, радостный, шаря глазами по обочине — не видать ли кого? Ого! Видать... Стоит глупышка, ручкой машет, ни о чем не ведает. «Тебя-то птичка мне и надо». Приживалов затормозил, как родной, распахнул кабину — залетай.

Девушка, поддернув и без того коротенькую юбочку, быстро влезла в кабину, лишь беленьким пятнышком мелькнули ее маленькие трусики.

Николай заволновался, сердце забилось часто. Сгоряча, как коня, с места в карьер рванул он свой КАМАЗ. Птичка попалась махонькая — бугорок куртки, да полоска кожи на худеньких ляжках. Сидит, чуть на сиденьи приметна. Носик в стекло наставила.

Приживалов баранку крутит, а сам исподтишка по черным колготкам глазищами.

— Куда едешь? — завел он разговор, по-кошачьи щуря на птичку глаза.

— В Шира, — повернув к нему маленький носик, ответила девушка и улыбнулась.

За компанию растянул свой рот до ушей и Приживалов. А в уме не хуже любого компьютера вычислил свои шансы, перемножив и поделив километры на часы, скорость на расстояние и наоборот.

Затем для приличия познакомился. И хотел уже начать разговор о расчете в натуральных единицах, естественно, как вдруг — буль-буль — забурлило, закрутило в животе что-то. Николай, не мешкая, затормозил. КАМАЗ встал резко, птичка носиком о стекло чуть не ударилась, и удивленные глазки на своего благодетеля наставила. Приживалов ужом выскользнул из кабины, стыдливо озираясь, скинул штанишки и присел под задние колеса.

— Тормоза что-то забарахлили, — влезая в кабину, конфузливо сообщил он и тронул машину.

КАМАЗ быстро набрал скорость, а Приживалов, ощущая приятную легкость в животе и на сердце, хотел уже снова начать разговор о расчете, как вдруг какой-то странный запах остановил его.

Чтобы узнать, что это за запах, Приживалов осторожно потянул носом воздух и узнал его. «Странно, как он оказался в кабине?» — подумал Николай и подозрительно покосился на птичку,

та, видимо тоже узнала, покосилась на него. Приживалов сделал вид, что ничего не произошло, но на всякий случай открыл окно. Птичка тоже. Но это не помогло. Запах все сильнее и сильнее узнавался. Благодетель уже не думал о расчете. Он думал только о запахе. Птичку, видимо, тоже занимала лишь эта мысль. Она то высунет носик в окно, то зажмет его. И, наконец, не выдержав, попросила выпустить ее. Коленьке ничего не оставалось делать, как выпустить, и он выпустил. Птичка улетела, а запах остался. Осталась еще и мысль: «Откуда он?»

Озадаченный Коленька свернул с дороги, остановил машину на приглянувшейся полянке с редким леском и стал искать. Обшарил всю машину, даже под капот заглянул. Ничего...

Усталый и разочарованный, он решил отдохнуть. Скинул с себя плащ, растянул его на шуршащей осенней листве и хотел уже лечь и вдруг увидел на полах плаща жирное рыжее пятно, расплывшееся, словно блин на сковородке. «Что это?» — было первой его мыслью. А вторая мысль ужаснула: «Неужели это то, что было оставлено под колесами КАМАЗа, а потом на плаще попало в кабину?»

— Вот так оказия! — крепко удивился Приживалов. — Вот это да!

Всю дорогу сокрушался Коленька. Попадались еще «птички», но ни одну из них он уже не взял...

## СОДЕРЖАНИЕ

Неугомонный . . . . .	5
Не на ту парвался . . . . .	10
Подвела инструкция . . . . .	15
Обиделся . . . . .	20
Хобби . . . . .	27
Отличное здоровье . . . . .	32
Перестроился . . . . .	34
Цветы среди сбруи, или Нелегкий путь . . . . .	38
С модой в ногу . . . . .	41
Знакомый запах . . . . .	44

**Михаил Михайлович Бакушкин**

**СМЕШНЫЕ РАССКАЗЫ**

*Сборник юмористических рассказов*

Редактор О.Ю. Ашмарина  
Художественный редактор В.Н. Кызласов  
Технический редактор Е.Д. Сунчугашева  
Корректор П.К. Тахтобина  
Компьютерный набор и верстка Н.Л. Боргойковой

ИБ 131

Сдано в набор 26.07.94. Подписано к печати 18.08.94. Формат 60х84 1/16.  
Бум. офсетная. Гарнитура школьная. Офсетная печать. Усл.печ.л. 2,79.  
Уч.-изд.л. 2,58. Усл.кр.-отт. 2,95. Тираж 1000. Лицензия ЛР № 010213.  
Заказ 14. С-34.

Хакасское книжное издательство, 662600, г. Абакан, ул. Щетишкина, 18  
УПП «Хакасия», 662600, г. Абакан, ул. Щетишкина, 32



1200